

Сирота казанская

192

Юмор давным-давно и с полным на то основанием называют «спасительным кругом на волнах жизни». Это замечательно и понятно. Понятно, когда можно посмеяться над кем-то или чем-то и когда тебя это никоим боком не касается. А ведь очень важно уметь посмеяться прежде всего над самим собой, над миром, с которым ты тесно связан, в котором ты, можно сказать, варишься. Поэтому мы и решили рубрику сатиры и юмора «КА» назвать крылатым выражением «Сирота казанская».

Начинаем её, естественным образом, с классики. Аркадий Бухов – это имя хорошо известно любителям юмористической литературы. А многие ли знают, что творческий путь писателя берёт начало именно в Казани? Нет? Тогда милости просим в гости к Сироте казанской.



Весёлое имя Аркадий Бухов

193

Один из лучших российских юмористов первой половины прошлого века Аркадий Сергеевич Бухов прожил в нашем городе несколько лет, и это были очень важные годы в его жизни. Здесь он, студент Казанского университета, начал писать, здесь в 1906-1908 годах принимал участие в издании журнала политической сатиры «Метеор» и приобрел первый журналистский опыт, здесь в 1909 году вышла юношеская (Бухову было двадцать) его книжка «Критические штрихи», посвященная творчеству Александра Блока и Михаила Кузьмина. Отсюда за участие в студенческих волнениях он был сослан на Урал, в Кочкары. Одним словом, это было Начало. Начало пути блестящего писателя-сатирика, автора множества рассказов, романов, стихов, фельетонов, рецензий, пьес, литературно-критических статей, сотрудничавшего – в компании с такими мэтрами жанра, как Аркадий Аверченко и Тэффи, – с лучшими изданиями того времени: «Сатириконом» и «Новым Сатириконом», «Всемирной панорамой», «Синим журналом», а позже – с «Литературной газетой» и «Крокодилом».

В «Крокодиле», приглашенный Михаилом Кольцовым, он даже исполнял обязанности заведующего литературным отделом – вплоть до 1937 года, когда, как и многие его коллеги, был репрессирован. Современники вспоминали, что Михаил Кольцов очень ценил не только замечательный комический талант Бухова, но и его превосходные организаторские способности. Не случайно, находясь в 20-е годы в эмиграции в Литве, писатель с успехом редактировал популярную каунасскую газету «Эхо». Про Бухова говорили, что в случае необходимости он способен в одиночку сделать чуть ли не целый номер «Крокодила», причем сделать совершенно без натуги, «играючи».

Атмосфера озорной литературной игры присутствует практически во всех его произведениях, даже в самых острых и социальных, не говоря уже о массе созданных его легким пером «бытовых» юморесок, признанным мастером которых он по праву считается. Его всегдашними объектами были глупость, мещанская обыденность, лицемерие и ханжество, потерявшие смысл житейские условности. Ироническую улыбку вызывали у него и тогдашние литературные штампы – не случайно одним из любимых его жанров стала пародия.

Жизнь Бухова завершилась трагически. Но сила его таланта такова, что, когда мы сегодня слышим «Аркадий Бухов», мы радуемся этому веселому имени, как всегда бывают рады люди, встретившие доброго и неунывающего старого друга.

Сегодня мы представляем вниманию читателей «Казанского альманаха» несколько рассказов Аркадия Бухова. Написанные много лет назад, они и по сей день не потеряли ни своей актуальности, ни своего «смехового заряда».

Эпоха и стиль

Каждой эпохе соответствует свой стиль.

Из шестерых, собравшихся в комнате у режиссера Емзина, эта истина еще не дошла лишь до Жени Минтусова, расстроенного всем вообще и отсутствием у хозяина папирос и пива в частности.

– Нет, вы только посмотрите, – волновался он, разыскивая окурки в пепельнице, – разве это язык? А? Как пишут наши писатели! Как пишут наши поэты! Разве это язык? А? Где же он, где, вы скажите, наш настоящий, добрый, старый, могучий русский язык? А?

Последнюю фразу он произнес с таким надрывом, как будто бы у него только что вытащили добрый (старый, могучий и т.д.) русский язык из кармана и он требует немедленного составления протокола тут же, на месте.

Молча возившийся до сих пор с засоренной трубкой актер Плеонтов дунул в это непослушное орудие наслаждения и тихо сказал:

– Ты дурак, Женя. Средний, нередко встречающийся в нашей области тип дурака. Пробовал ли ты хоть раз разговаривать с окружающими на языке другой эпохи?

– Подумаешь! – легкомысленно отпарировал Минтусов, выловив малодержаный окурочек.

– Не думай, Женя. Не затрудняй себя непосильной работой, несвойственной твоему организму, – ласково произнес Плеонтов. – Для тебя, как для существа малоразвитого, наглядные впечатления значительно полезнее, чем головные выводы. Хочешь, я тебе опытным путем покажу, что такое язык, не созвучный эпохе?

– Покажи! – упрямо принял вызов Минтусов.

– Охотно. Это свитер твой?

– С голубыми полосками, который на мне?

– Именно с полосками и именно на тебе. Ставишь его против моей настольной лампы, которая тебе так нравится,

если я тебе докажу, что в понимании стиля ты отстал, как престарелая извозчицья лошадь от электрического пылесоса? Идет? Емзин, разнимай руки.

Когда Плеонтов и Минтусов вошли в трамвай, Женя вытянул из кармана двугривенный и протянул его кондуктору:

– Это семнадцатый номер? За двоих.

Плеонтов быстро схватил его за руку и вынул из нее деньги.

– Женечка, – укоризненно зашептал он на ухо Минтусову, – прямо не узнаю тебя!.. Разговаривать с кондуктором трамвая, да еще семнадцатого номера, на таком сухом, прозаическом, ничего не говорящем языке!.. Ты ведешь себя, как участник на именинах... Где же настоящий, сочный, полнозвучный язык нашей древней матушки-Москвы, язык степенных бояр и добрых молодцев, белолицых красавиц, которые...

– погоди, что ты хочешь делать? – встревоженно посмотрел на него Минтусов.

– А ничего особенного, – небрежно кинул Плеонтов и, низко поклонившись в пояс изумленному кондуктору, заговорил мягким, проникновенным голосом: – Ах ты гой еси, добрый молодец, ты, кондуктор свет, чернобровый мой, ты возьми, орел, наш двугривенный в свои рученьки во могучие, оторви ты нам по билету, поклонюсь тебе в крепки ноженьки, лобызну тебя в очи ясные...

– Пьяным ездить не разрешается, – неожиданно и сухо оборвал его кондуктор и дернул за ремень, вызвав этим явное сочувствие пассажиров. – Попрошу слазить!

– Я не пил, орел, зелена вина, я не капал в рот брагой пенистой, – заливался Плеонтов, ухватив за рукав бросившегося к выходу Минтусова. – Ты за что почто угоняешь нас, ты, кондуктор наш, родной батюшка?..

Выпрыгнули Плеонтов и Минтусов, не дожидаясь остановки и не без помощи разъяренного кондуктора и двух пассажиров.

На углу сидел молодой чистильщик сапог и думал о том, что, если ему удастся купить двухрядную гармошку,

жизнь сделается значительно полнозвучнее и красивее. Два хорошо одетых гражданина подошли к нему. Один из них, оглядываясь на другого, неохотно поставил ногу на деревянную скамеечку, а тот, с приятной улыбкой на добром лице и слегка изогнув талию, начал мечтательно и внятно:

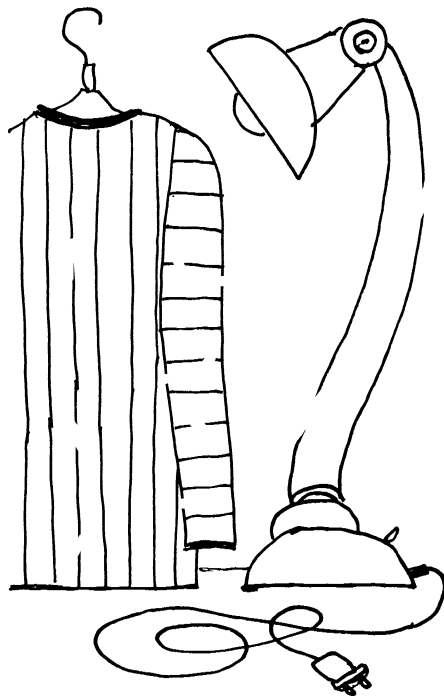
– Отрок, судьбой обреченный на игрище с щеткой сапожной! В нежные пальцы свои взяв гуталин благовонный, бархатной тряпкой пройдишь по носку гражданина, ярко сверкающий глянец, подобный прекрасному солнцу, ты наведешь, и, погладив его осторожно, ты...

– Оставь! – хмуро проворчал Минтусов, снимая ногу.

Чистильщик осторожно поднялся с земли, сунул желтую мазь в карман и тоном, не предназначенным для дискуссий, объявил:

– С таких деньги вперед полагаются. Клади или чисть сам.

– А ведь какой прекрасный гексаметр, какие стихи! – искоса посмотрев на Мин-



тусова, произнес Плеонтов. – Пойдем. Разве это не стиль? Ведь на таком языке древние римляне мир завоевали. Осторожнее: споткнешься...

– Оставь, пожалуйста, эти шутки! – сердито сказал Минтусов, когда они вошли в кафе. – Ты бы еще язык древних египтян выкопал и на нем ветчину покушать стал...

– Значит, ты находишь, – внимательно выслушал его Плеонтов, – что более современный стиль, ну, допустим, фривольный язык Франции шестидесятых годов, более доходчив в нашу кипучую эпоху?

– Ничего я не нахожу. Я хочу выпить чашку кофе. Оставь меня в покое!

– А это мы сейчас сделаем.

Плеонтов поманил пальцем – и около стола выросла курносая девица в передничке и с мелкими завитушками.

– Вам что, гражданин?

– Пташка, – заискивающе начал Плеонтов, – забудьте на время того Жана, который щекочет вашу шейку непокорными усиками, забудьте последний вздох его в садовой беседке и...

– Меня никто не щекочет по беседкам! – вспыхнула курносая девица. – А если вы, гражданин, нахал, так и в милицию можно...

– Рассерженный зайчик! – в восхищении вскрикнул Плеонтов, взмахнув руками. – Какие розы заалели на ее щечках, соперничая с лепестками азалий! Кто сорвет поцелуй с этих алых губок, кого...

Милиционер оказался поблизости. Он терпеливо выслушал девицу с завитушками и спросил:

– На что жалуетесь?

– Нахальничают словами, – бойко ответила девица.

– Как было? – деловито повернулся милиционер к Минтусову.

– Видите ли, – робко начал тот, – сидели мы у стола, а вот этот, – он с ненавистью взглянул на Плеонтова, – говорит ей...

– Оставь, Минтусов, – мягко перебил его Плеонтов, – каким языком ты объясняешься!.. Какая сухая проза! А где у тебя сочный, подлинный язык девяностых годов, на котором писали лучшие представители родной литературы?.. Эх, Минтусов! – И, положив руку на плечо милиционеру, Плеонтов заговорил, устремив проникновенный взгляд на последний этаж строящегося дома:

– Было так. Голубая даль пропала там, где грани света боролись с наступающими сумерками. Тихая, подошла она к нашему столу. Тихая, и казалось, что не она подошла к столу, а стол...

– Платите, гражданин, три рубля, – вздохнув, сказал милиционер, снимая с плеча плеонтовскую руку.

– Мы же не прыгали с трамвая! – горько вмешался Минтусов.

– Такие, и не прыгая, нахальничают, – вступилась довольная девица.

– Платите...

Когда пришли домой и разделись, Плеонтов закурил папиросу и осторожно спросил:

– Ну, какого ты мнения, Минтусов, относительно стиля? Соответствует ли каждой эпохе ее стиль или...

Минтусов снял пиджак и, быстро сдернув через голову свитер с голубыми полосками, протянул его Плеонтову:

– На! Давись!..

История взятки

Заспанный Ной выглянул из ковчега и хмуро посмотрел по сторонам.

– Кто тут еще? Сказано, что местов нет...

– Это мы, голуби.

– Ишь ты, сколько тут вашего брата шляется... Говорю: все занято...

Самый старый голубь почесал ногой шею и виновато кашлянул.

– А то пустил бы, старик... У нас кое-что с собой есть... Почитай что полпальмы с корнем вывернули...

– Дурья ты голова, а еще голубь, – усмехнулся Ной, – что я с твоей пальмой делать буду?... Тоже нашел...

– А может, и пригодится, – загадочно кинул старый голубь, – время, брат, нешуточное, потоп на дворе, а ты гнушаешься...

«А кто его знает, – подумал Ной, – может, и пригодится дерево... Дорога не маленькая, до Араратских гор ни одного полустанка...»

– А пальма у тебя хорошая? – сухо спросил он, с недоверием поглядывая на голубя. – Многие дрянь приносят.

– Да уж будь спокоен, старина, – почувствовав, к чему клонится дело, покровительственно уже сказал голубь, – доволен останешься...

– Ну ладно, шагайте... Только тише вы, черти короткохвостые, всех чистых у меня перебудите...

Это было первое появление взятки. Неведомая и еще хрупкая, она приютилась в уголке между семью парами нечистых и поплыла в Ноевом ковчеге спасаться. В дороге за ней незаметно для других ухаживал один из сыновей Ноя, которого близкие запросто называли Хамом. Когда ковчег подходил к берегу, взятка выпрыгнула первой, опередив даже голубей, которые хотели удрать со своей пальмой, и рассыпалась в воздухе.

Успела только Хаму шепнуть:

– Ничего, брат Хам... Не робей. И детей твоих и правнуков из беды выручу... Свои люди – сочтемся...

* * *

С момента своего возникновения взятка сразу разделяется на три вида: с угрозой, с напоминанием и без них. Последний, самый тяжелый, принял характер эпидемии.

Съедал целые государственные организмы, как устрицы, даже не поливая их лимоном. В доисторическое время свирепствовал почти исключительно первый вид.

– Пропусти, голубчик...

Первобытный человек, залегший с дубинкой у чужой хижины, иронически смеялся в лицо хозяину и презрительно сплевывал в сторону.

– А вот захочу и не пропущу.

– Меня же там дети ждут...

– А может, я твоих свинок дубиной по черепам...

– Ну, жена осталась...

– Жена... Тоже оправдание... Жену можно за голову и о камень.

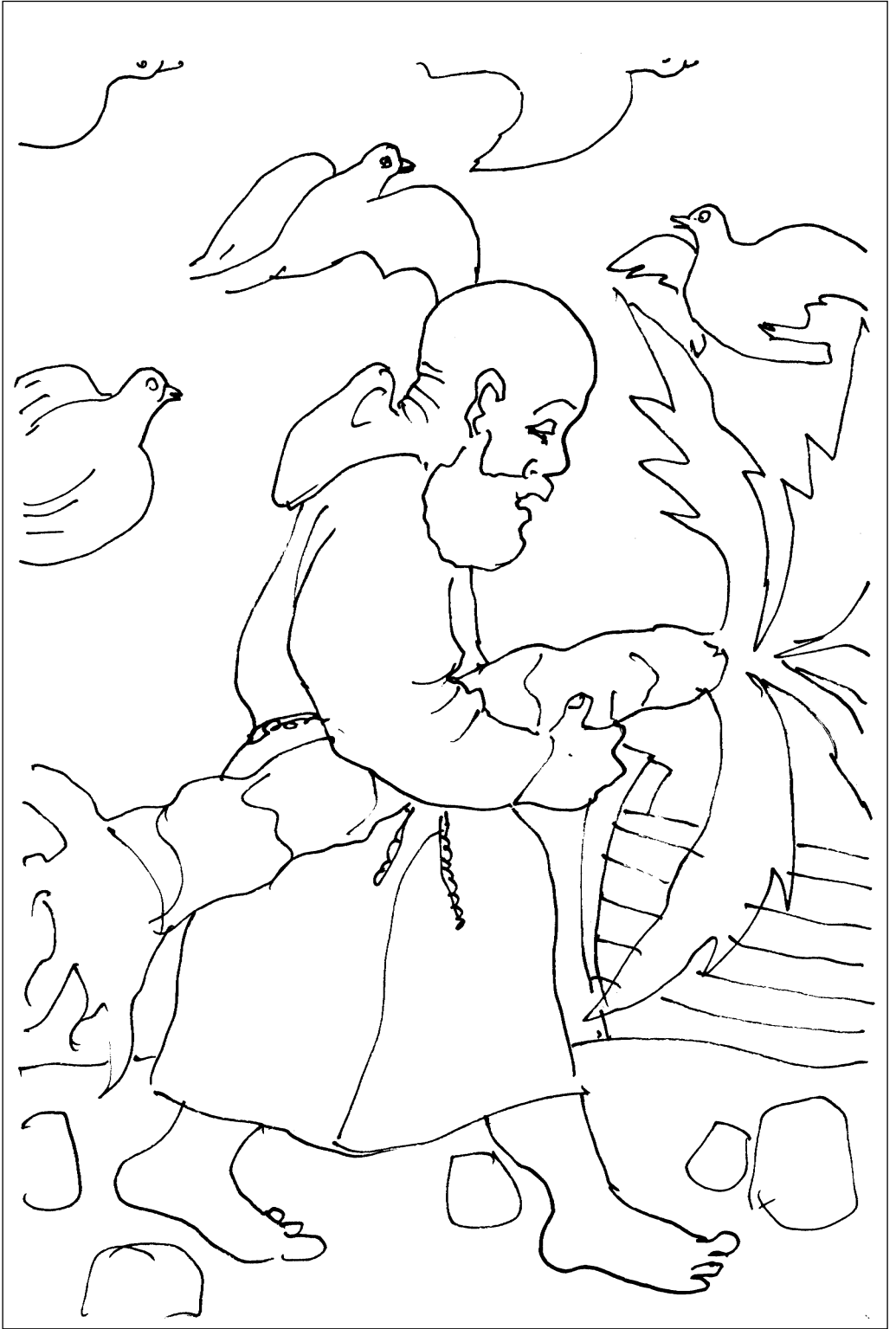
– Не пропустишь, значит?

– Ну, это как сказать... Если бы да у меня бы да твой бы кусок антилопы, что ты в руках держишь, был бы...

– Жри, собака, – коротко говорил обиженный и проходил в свою законную хижину. Потом возвращался обратно, удивившись в целостности своего семейства, и тихо добавлял:

– Жри и подавись!

Эту формулу перехода при передаче взятки сохранило все человечество вплоть до наших дней включительно. Даже в наше время, лишь по некоторым деталям напоминающее доисторическое, при передаче крупных сумм на благотворительные цели кому-нибудь из



имеющих административную власть многие не могут удержаться и, проводив печальным взглядом взявшего, тупо шепчут в пространство:

– Жри, собака.

* * *

Рим и Греция, говоря официальным языком, изобиловали взятками; особенно Рим, где так много говорилось о неподкупности, что не брать взятки считалось неприличным. Не брали взятки только плебеи, с которых брали патриции.

Античная взятка носила подобающий ей античный характер.

На суде, например, римлянин перед произнесением обвинительного приговора, для него же приготовленного, красиво выступал вперед и гордо распахивал плащ, под которым оказывался привязанный к поясу живой поросенок, сильно мешавший своим беспокойным характером тишине судопроизводства.

– Это что? – спрашивал судья, прекрасно понимая, в чем дело. – Кажется, поросенок? Дай.

– На, – гордо говорил римлянин. – Пусть эта свинья да будет тем даром, который...

Писец судьи античным взмахом руки подсовывал античный приговор и антично опускал в карман тоги несколько сестерций оправданного, который уходил домой, громко повторяя перед каждым встречным:

– В Риме еще есть судьи!

И только дойдя до дому, уныло прибавлял:

– Лучше бы их не было! Это большой ущерб для домашнего хозяйства.

Греческая взятка носила почти тот же характер. Первоначально к ней приучили сами боги, требуя то мясных, то вегетарианских, то денежных жертвоприношений. Собственно говоря, сами боги, которые жили на полном пансионе на Олимпе и нуждались только в карманных деньгах, много не требовали, но их делопроизводители, называвшиеся главными жрецами, требовали в жертву от бедных греков все, начиная от скверных

букетов и кончая целыми фермами с дорогой молочной скотиной.

– Диана требует от тебя корову, – официально обращался такой жрец к простоватому греку, зашедшему в храм просто из-за дороговизны человеческой медицинской помощи, – тогда и твоя болезнь пройдет.

– Ко-о-орову? – удивлялся грек. – Это за простой чирей на шее и корову?

– Зато, брат, как рукой снимет, – подерживал жрец интересы своей доверительницы, – у нас, брат, масса благодарностей есть. Кухмистер из Эфеса нам пишет...

– Нет. Не выгодно. Корову за чирей... Статочное ли это дело?! А если у меня лихорадка будет, ты бабушку живую потребуешь...

– Иди к другим богам, – сердился жрец, – у Зевса дешевле... Они тебе за дохлую собаку целую чахотку пообещают выгнать...

– Да мне что идти... Мне бы так подешевле где. Хочешь, я теленка приведу?

– Мое дело маленькое. Богиня требует, не я...

– А что твоя богиня с моей коровой делать будет? Тоже... Богиня, подумаешь... Да такую богиню сандалией по ро...

– Ну, веди, веди теленка... Грек несчастный

– Давно бы так... А то – богиня, богиня...

* * *

Средневековые лелеяло второй вид взятки – с напоминанием.

– Напомни твоему господину, – говорил какой-нибудь рыцарь, слезая у придорожного замка, – что, если его замок подпалить с восточной стороны, это будет весело.

– Может, еще чего-нибудь напомнить? – вежливо спрашивал привычный сторож, вынимая кусок пергамента и гусяное перо. – Я запишу.

– Напомни еще, что у рыцаря Шевалье Риккардо де Кардамона пустой желудок и пустой карман.

Слуга возвращался через десять минут, неся на вертеле кусок жареного барана и мешочек, снизу наполненный для тяжести железными опилками, а сверху прикрытый десятком потертых монет.

– Признает ли твой хозяин, что нет женщины красивее, чем прекрасная Мария Пиччикато дель Гравио ди Субмарина ля Костанья? Впрочем, это неважно. Дай-ка сюда мясо. И деньги давай. А вина нет? Ну и не надо.

Вассалы брали взятки пачками, с целых деревень. Иногда деньгами, иногда натурой. До сих пор еще не забыто так называемое *ius primae noctis*. – право первой ночи, которое вассалы рассматривали как свадебный подарок новобрачным.

* * *

В России первую взятку потребовал Ярило. Это был простой, незатейливый чурбан, которому наши прародители мазали при всяком удобном и неудобном случае медом деревянные губы. Ярило был от этого липкий и сладкий. По ночам жрецы собирались целой толпой и, отгоняя друг друга, облизывали его до утра.

Мазали славяне очень нехорошо. Старались иногда незаметно помазать смолой, если поблизости не было Ярилиных служащих.

– Черт тебя знает, – сердились славяне, – полфунта сотового на тебя вымазал, а хоть бы что... Так и издохла корова...

Но мазать, из-за боязни осложнений с деревянным скандалистом, было необходимо. Особенно усердно мазали конокрады, потому что без Ярилиной помощи нельзя было украсть самой подержанной кобылицы.

С тех пор и осталось выражение: «нужно смазать». В эпоху великих князей смазывали особенно усиленно воевод. Это были люди веселого и неуживчивого характера, с таким широким размахом и неиссякаемым интересом к чужому имуществу, что население вверенных им городов, в последний раз выра-

жив свои лояльные чувства, само выходило на большую дорогу и начинало грабить.

Воевода с утра начинал обходить свой город, пытливо присматриваясь к быту своих подчиненных.

– Ай, Ивашка, друг, – останавливал он богатого горожанина, – ты здесь шляешься... А за что почто ты, собачий сын, еще издали мне не кланялся, животом своим не подмел земли, свою шапочку распоганую не ломал ты, кошачий сын?!

Ивашка, будучи от природы человеком неглупым, приступал прямо к делу:

– Не гневись ты, свет воеводушка... Ты прими от меня, сына блудного, эту курочку, эту уточку, да яичек еще три десяточка...

Воевода внимательно выслушивал это и ставил резолюцию:

– А и взять в тюрьму надо этого пса поганого, пса зловредного... К черту уточек, к черту курочек, да яички – ко всем чертям... Ты гони-ка сюда нам коровушку, да лошадушку, да...

– Ну, в тюрьму так в тюрьму, – прозаически решал Ивашка и шел к заплочным мастерам. Это были люди профессии, еще не подведомственной ремесленным управам.

С Ивашкой они обращались так неосторожно, что, уходя из тюрьмы, он забывал там три пальца или одно ухо. После этого Ивашка надевал кумачовую рубаху, затыкал топор за пояс и резал купцов.

Когда Ивашкины потомки стали ходить в приказы писать жалобы, дело обстояло уже на более правильной расценке услуг.

– Прошеньице бы, – говорил Ивашка-внук писцу, – землицу у меня пооттягали.

– Тебе как: на алтын или на курицу написать-то? – деловито спрашивал писец. – Может, гусь есть – и на эту птицу можно. Особенно ежели жирная она, птица-то твоя...

– Да мне бы так уж... Чтобы отдали-то... землицу-то...

– Чтобы отдали? – удивлялся дьяк или писец, – ты вот что хочешь... Это, брат, коровой пахнет...

Ивашка-внук думал, раза четыре бегал советоваться с близкими людьми, искал писца победнее и наконец пришел решительный и тороватый.

– Пиши, черт старый, на пару с санками... Так, чтобы дух из них вышибло, сразу чтобы отдали...

Когда дело попадало в суд, Ивашкиному благосостоянию наступал конец. Его, как гражданского истца, конечно, сажали сначала в подвал. Выдержав там известное время, достаточное для перехода его недвижимого имущества в полную собственность судейского персонала, его выпускали в качестве свидетеля по собственному делу и перед процессом некоторое время пытали. Если Ивашка оставался жив, его оправдывали и снова сажали в тюрьму; если он не выдерживал, его тоже оправдывали, а присужденную землю судьи брали себе.

В этом случае Ивашка, по истории русского права, назывался повытчиком, от слова «выть».

В эпоху петровских времен взятки брали осторожнее и сразу перешли на деньги, хотя в отсталой провинции брали еще всем, что можно было довести, донести, проволоочь или догнать до официальных учреждений.

В то время все помещики тягались. За что – этого никто не знал, но помещика, который бы не тягался с другим из-за чего-нибудь, все переставали уважать.

– Приметно, государь мой, – говорили тяжущемуся помещику чиновники в платьях немецкого покроя, – что достаток имеете немалый.

– Именьишко худое, деньжишки мелкие, – начинал плакаться помещик. – Серебра – только чайная ложка... Ее бы подарить кому-нибудь, да не знаю – кому...

Чиновники сейчас же придирались к слову:

– На сие мудрецом одним франкским сказано: «Сухая ложка рот дерет». Оную смазать надлежит.

* * *

...Самым тяжелым видом взятки, как я уже сказал раньше, надо считать третий – без угроз и напоминания, наиболее частый в последний период русской жизни.

– Видите ли, я хотел бы, чтобы эта бумага...

– Не могу-с.

– То есть даже не то, а чтобы...

– Не могу-с.

– Я, собственно...

– Не могу-с.

Оторопевший человек, которому нужно получить бумагу во что бы то ни стало, растерянно оглядывается по сторонам, краснеет и начинает гибнуть на глазах у окружающих.

– Разрешите мне только передать вам эту бумагу...

– Не могу-с.

– У нее в середине копия. Зеленая.

– Не могу-с.

– Синяя.

– Знаете ли, не могу-с.

– Красная, черт возьми...

– Красная? Гм!.. А вам что, собственно, угодно?

* * *

Историю взятки писать очень трудно. Немыслимо описывать состязание двух лошадей, когда обе только что пущены со старта. А взятке до своего предельного пункта еще очень далеко. Мы только еще Ивашкины внуки и только можем описывать взятки в России как хроникеры текущих событий. Быть может, какой-нибудь Ивашкин правнук напишет эту историю не только с начала, но и до конца... У нас, к сожалению, еще нет морального права написать одно маленькое слово в неиссякаемой истории взятки в России: «Конец».

Позднее раскаяние

202

В городе Конотопе был пойман популярный в губернии разбойник Щупак. Сначала он крал лошадей, затем резко перешел к подкарауливанию одиноких пешеходов в лесу, потом сделал резкий скачок, всего на две недели занявшись кражами с поджогом, и остановился на мелких убийствах проезжих пассажиров.

О Щупаке ходили легенды, и матери пугали им детей, не обращая внимания на возраст ребенка.

– Вот погоди, женишься на Машке, Щупак придет и всю твою семью вырежет.

Областные корреспонденты посылали специальные статьи, по три копейки за строчку, о похождениях Щупака, приписывая ему все, что могла сохранить их уездная память из прочтенных когда-то переводных романов. Дело доходило до того, что, когда местная городская управа отказалась выдать ассигновку на конку, конотопцы решили:

– Щупака испугались.

Почему Щупак должен был мстить за введение конной железной дороги, никто не знал, но таково было обаяние этого человека.

* * *

Поэтому, когда его поймали и посадили в тюрьму, мимо ее окон ходила толпа и гудела о скорейшей расправе.

– У нас всегда так, – кисло отозвался редактор местной газеты, – сначала человека повесят, а потом уже сотрудники интервьюировать побегут. Хоть бы добрался кто до него...

Один из сотрудников решительно отказался идти под предлогом, что Щупак запомнит его лицо и в свободное

время вырежет его семью. Другой согласился, и ему было разрешено взять интервью.

Щупак сидел в камере и тяготился безработицей. Выцарапал ногтем на серой стене несколько неприличных слов, попробовал руками крепость решетки, съел большой кусок хлеба, запив водой, и решил, что все очередные дела кончены. Все остальное будет только повторением.

Это был мужчина громадного роста с длинными всклокоченными волосами, сухими, жилистыми руками и впалой грудью.

– Кажется, господин Щупак?

– А вы кто будете? Из сотрудников? Ну что же, все свой хлеб едят, свою воду пьют. Садитесь. Гостем будете.

– Скажите, мсье Щупак, – осторожно приступил репортер, – давно изволите заниматься этим самым?..

– Грабежом-то? Давно. Пожалуй, лет семь.

Он погибал пальцы, подумал перед тем как загнуть третий палец на левой руке, и убежденно подтвердил:

– Семь и есть. Насчет убийства мало баловался. Разве уж к горлу подступит – ну, конец... Записывать изволите? Пиши, пиши, не боюсь...

– А что, скажите, многих вы того... кокнули?

– Я-то? Многих. Одно слово – многих. Ежели припомнить, пальцев не хватит. Перво-наперво своего старосту села убил, потом Калениху, торговку, уложил, затем, значит, чиновника одного почтового припечатал, потом...

У репортера тряслись руки. Бледный, он сидел на тюремном стуле и записывал все в блокнот. Перед глазами у не-

го прыгали и извивались будущие газетные строчки, а из горла, как сухой пар вырывается из паровозных трубок, вылетало со свистом и шипом:

– Не может быть!.. Неужели?.. Не может быть!..

* * *

Когда наступила пауза, Щупак вздохнул и сказал:

– Хорошо пойти бы сейчас в город... Шляются, чай, кофе распивают, мясо жрут...

– Ну что вы! – внезапно обиделся репортер. – Нешто газет не читаете? Сам вчера еще писал... Где же теперь мясо?..

– Как где мясо? Мясники, чай, не перемерли?

– Лучше бы. По два рубля за фунт дерут.

Щупак недоверчиво посмотрел на репортера и покачал головой.

– Рупь полфунта? Требуют?

– Требуют.

– Где же это видано! На чаю с булкой, значит, сидеть приходится.

– Тоже, на чаю!.. А сахар-то где? В лавках. По сотне пудов сплавляют, а как по фунту – не хотят отпускать.

– А ты не брешешь, парень? – еще недоверчивее спросил Щупак. – Грабеж ведь...

– Именно, грабеж. А извозчики не грабят? По целковому за конец – это не грабеж?

– Разбойники, – сочувственно произнес Щупак и чмокнул губами, – и управы на них, значит, нет?

– А ребята без молока не сидят? – хмуро спросил его репортер. – По полтиннику бутылочка-с. Вот оно что...

– Ну и народ! Прямо хоть на большую дорогу пускай, – возмутился Щупак. – Этак они и за сапоги двадцать целковых стянуть могут.

– Сорок.

– Среди бела дня? При всех?

– При всех. А лекарства где купить теперь можно?

– Ну знамо где – в аптеке...

– А во фруктовой лавочке не хочешь? Сын хозяйский, видишь ли, без дела ходит, так он лекарства скупает.

– Где же с хворого человека лишку драть можно?

– Отдавай за хинин трешницу либо помирай...

Щупак немного подумал и сказал:

– А я, дурак, хворых не трогал... Сумневался...

– Вот без лекарств дети и мрут.

– Ребенки? С дитев наживаются? Младенческую душу губят?

– Губят.

– Здорово... Невдомек мне было этим делом заниматься. Увидишь мальчонку, с отцом-то свой разговор, а ему дашь подзатыльника да отпустишь...

– Это еще не все. Еще вот что делают...

* * *

Когда репортер ушел, Щупак долго ходил злой и сосредоточенный по камере. Он что-то шептал, а потом вдруг выпрямился, ударил себя кулаком в грудь – и по тюрьме пронеслись громкие негодующие крики:

– Эй, ты... Обалдуй... по деревням шлялся... Под бревнами спал... Работы для тебя в городе не было?.. Устроиться не мог? Эх ты!..

Потом Щупак остановился и подумал: «Орясина ты длинная... Кровь у тебя тихая, ребят да хворых не трогал, сердце доброе... Может, еще и в гласные выбрали бы...»

И уснул с мыслью о почетном гражданстве.

Начинающие

204

Их тысячи.

Это они посылают в редакции нежные лирические стихи, рецензии о вечерашних спектаклях, в литературные журналы – статьи о немощных улицах.

Это первые плоды их вдохновения, первые стремления попасть в литературу... Каждый день редакционный работник грудами сваливает их на редакторский стол для того, чтобы завтра снова убрать со стола и сложить их в дальний ящик вместе с газетными вырезками.

Это – начинающие.

Каждый из них удивительно индивидуален, у каждого уже своя манера письма, свои захваты тем, свои требования к стилю и, главным образом, к редакции, которую они осчастливили присылкой толстой рукописи или стихотворения на разлинованном обрывке.

Попробуйте прочитать их. И редакция представится вам огромным моргом, на одном из столов которого так уютно лежать. Они пишут стихи.

Каждое стихотворение обязательно посвящено «Ксении М.», «Александре П.», если не прямо «Катерине Николаевне Манухиной с семейством».

Стихи всегда бьют по голове изысканностью рифмы и содержания.

Плывет по облаку луна,
Уснул и дремлет старый сад,
Уж покатила с неба звезда,
А я весь мучительной скорбью объят.

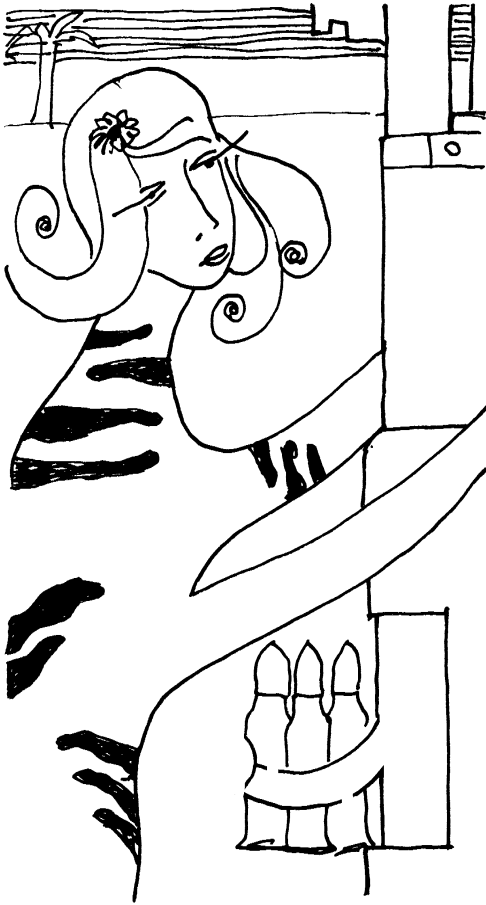
Часто, с легкой руки литературных акробатов, начинающие полны поэтической экзотики.

Когда начинающие присылают сорокадвухстраничную повесть из личной жизни или переживаний, нужно быть ангелом для того, чтобы не только до конца, но даже до середины прочесть печальный рассказ о том, как:

«Арсений подошел к окну, которое было раскрыто к той стороне, которая выходила в сад, который сладко дремал под ясным небом, которое плакало крупными слезами, которые капали вниз».

Хуже, если начинающий изыскан. Тогда он непременно ищет образные и красивые сравнения:

«Ариадна прошла мягкая и стальная, как падающая зебра в далекой Африке. У нее была крикливая, как агат, шея, длинные, похожие на норвежский рыбацкий челн, ресницы, а все лицо ее, по своему одухотворению, напоминало карабин мексиканца».



Еще хуже, если начинающий приходит в редакцию. Большею частью он робок. Войдя в прихожую, волнуется и здоровается за руку со сторожем, принимая его за секретаря редакции. Рукопись передает случайно забежавшему метранпажу; вместо приемной нелепо тычется в комнату художника и в конце концов дожидается редактора садится в комнате у переводчицы, мешая ей своим разговором.

Когда его вводят в редакторский кабинет, эту святая святых каждого начинающего, он дрожащей рукой передает редактору вместо своего стихотворения старое письмо или кусок счета от обойного мастера.

Требуется чтения рукописи он сейчас же, хотя бы это заставило редактора три дня находиться без питья, без пищи, без разумных развлечений в виде сна и свежего воздуха.

Объяснить начинающему, что его стихотворение или рукопись не подходит – просто нельзя. Надо сначала в продолжение сорока минут втолковать ему, что он до ужаса талантлив, что у него должны быть гениальные родители, что у него на черепе такие же шишки, как у Льва Николаевича Толстого, что он, безусловно, затмит всех современников своим дарованием, но что именно вот эта рукопись, которую он сейчас только что принес, – скверная.

Попробуйте объяснить ему, что «игла и сковорода» не рифма или что совершеннейшая несообразность, если героиня повести, предварительно повесившись, бежит бросаться в воду с крутого скалистого обрыва, – он не поймет.

У него от незаслуженной обиды затрясутся руки, он слезливо заморгает и как оплеванный уйдет из вашего кабинета. В передней будет тыкать ногами в чужие калоши; шляпу он будет держать в руках, хотя еще за полчаса до этого был твердо уверен, что это нехитрое изобретение какого-то досужего человека приспособлено для надевания на голову.

– Эх, – будет шептать он, – вот они где, ценители! Не рифма, говорит... Мерзавцы!

А потом вечером, где-нибудь в глухой пивнушке, в компании таких же неудачников, будет рассказывать о своей обиде:

– Вот она где, кружковщина. Умерла Россия... Нет больше таланта!

А ночью, полусасыпая над столом, будет выводить на бумаге, мечтательно откидывая длинные волосы:

Она пришла ко мне вчера
Такая горестная – дикая;
Я дожидался у окна,
А голубь пел, стыдливо плакая.